

# Итальянка из Бенсонхерста

А всё в душе восторг и боль,  
И всё-то вспоминается...

И. Бунин.

Песні мае, песні!  
Смуткаў маіх дзеці!

Янка Купала.

Когда я была маленькой, я всегда говорила маме:

– Я всю жизнь буду жить с вами, с тобой и папой, в Краснополье. Никогда не выйду замуж и никогда никуда не поеду!

Мама смеялась и говорила:

– Тохторке, а нодул трахт ун а шнайдер махт! (Доченька, иголка думает, а портной делает! – идиш) Я, конечно, не знаю, какая у тебя будет жизнь, но я не хочу, чтобы ты всю жизнь сидела при мне: дай Бог, надумашь выходить замуж, у тебя будет а гутэр хосун (хороший жених – идиш), и, может быть, ты с ним в город переедешь! Я всю жизнь мечтала увидеть мир, а всю жизнь прожила здесь: может, тебе суждено что-то лучшее!

И вы знаете, мистер Баскин, как будто мама в воду глядела: и весь мир я обошла, и хорошего жениха нашла, только не дай Бог такой дороги моим детям!

Я не знаю, что сказала бы мама, увидев меня сейчас, и гадать на этот счет не буду. Разные вышли у нас жизни! А у разных жизней разное понятие о счастье.

Сейчас меня зовут сеньора Розалия, а раньше я была просто Роза, дочка Аврома-шайдера. (Аврома-портного – идиш) Всё это было так давно, что иногда я думаю, а было ли всё это?! От той поры у меня не осталось даже маленькой безделушки, как будто я родилась сразу взрослой и голой пришла в этот мир, как ребёнок.

Но в отличие от ребёнка, я помню свой первый крик: на дороге между Краснопольем и Чериковым нас, последних евреев, бегущих из Краснополья, разбомбили, и самолёт, на бреющем полёте прижимаясь к дороге, расстреливал оставшихся живых после бомбёжки, а я, стоя во весь рост над погибшими родителями, кричала и рождалась вновь! И пули не тронули меня! Не знаю почему. Может, я и вправду живучая, как говорил Микеле.

– Все твои погибли и, может быть, Бог дал тебе живучесть, чтобы твой род продолжился, – как-то сказал он.

И я вам скажу, мистер Баскин, ничем иным не объяснить мою судьбу...

С той страшной дороги я вернулась назад в Краснополье и, наверное, закончила бы свою жизнь во рву, за Краснопольем, если бы не моя великая живучесть. За день до расстрела евреев я мыла полы в немецкой комендатуре, и старый немец, который всегда дежурил, когда я убирала, вдруг заговорил со мной:

– Ду фарштейст дойч? – спросил он. (Ты понимаешь по-немецки – немецкий)

– Да, – вся дрожа, сказала я.

– Беги, дочка, – сказал он. – Завтра всех ваших расстреляют, – и, боясь, что я его не пойму, добавил: – Пиф-паф! Всех убьют! Беги!

И я убежала. Пешком я дошла до Гомеля, может, с полсотни прошла постов, и всюду меня принимали за белоруску: я раньше была совсем не похожа на еврейку и только теперь, под старость, когда стала совсем седой, во мне стало проявляться что-то еврейское. Узнав еврейское горе, я узнала и белорусское...

Я, как та курица, подумала, что выскочила из горшка, да дорога до порога далека! Где-то на третий день я попала в облаву и меня отправили как белоруску на работу в Германию.

И, как мечтала мама, я увидела мир...

Нас, как рабов, разобрали по домам, и я попала в семью Бауэров на юг Германии, возле французской границы. Единственным мужчиной на ферме был внук хозяйки двухлетний Гансик. Всем в доме заправляла старая хозяйка фрау Берта, а молодая хозяйка, её невестка, фрау Эльза, занималась ребёнком и кухней. До войны, наверное, ферма была большой, но, когда я попала к ним, в хозяйстве было всего десять коров.

Фрау Берта часто говорила:

– Ты бы видела, что у нас раньше было! А потом началась война, и я без мужчин всё это вытянуть на своих плечах не смогла. И стала резать лучшие молочные породы на мясо! Ты можешь себе это представить?! С каждой коровой я расставалась, как с родным человеком! Они мне и сейчас снятся по ночам!

Могла ли я её понять? Мне тоже снилась по ночам наша Лыска. Мы купили её в Пропойске на ярмарке (ярмарке – бел.) за полгода до войны. И когда убегали из Краснополя, единственное, что мы взяли, – это её. И первая бомба на чериковской дороге попала в нашу Лыску. Она не стонала, только из больших её глаз текли слёзы. Рядом умирали, и никто не думал о коровьей боли...

И я тогда не думала. А потом на ферме у фрау Берты я часто вспоминала нашу Лыску и благодарил Бога, что она у нас была. Благодаря этому я научилась обращаться с коровами. И благодаря Лыске я понравилась фрау Берте.

– Тебя любят коровы, значит, ты хороший человек, – сказала она как-то мне и доверчиво призналась: – Я всех невест Пауля показывала моим коровам! И, знаешь, только Эльзу они признали!

Я не буду кривить душой, и фрау Берта, и фрау Эльза относились ко мне хорошо. И даже по воскресеньям я ужинала вместе с ними, за одним столом.

– Так делал мой отец, – говорила фрау Берта. – В божий день работник должен почувствовать отношение хозяина к своему труду!

И, может быть, до конца войны я прожила бы на ферме у фрау Берты, если бы однажды фрау Эльза не позвала меня в дом и не попросила постирать ворох детской одежды:

– Пауль с фронта прислал Гансику, – сказала она и добавила: – Гансик родился, когда Пауль уже был на фронте, он даже его не видел! Но в каждом письме только о нём и пишет: он от него без ума! Не может дождаться, когда ему дадут отпуск! – восторженно сказала она и деловито добавила: – Мой хорошо, не жалею мыла: не дай Бог, могут быть вши или ещё что-нибудь заразное!

И оставила мне вещи и кусочек мыла. Рубашечки бумазейные и ситцевые, брючки, кофточки, маечки, трусики – разных размеров и до боли знакомых фасонов: в них не было европейской изысканности, в них была наша простая удобность. Как говорил мой папа: „Ну, сделаешь бантик, а потом как с этим бантиком залезть на дерево? Ребёнку надо сшить такой костюмчик, чтобы даже посреди лужи он выглядел ви а пориц! (как богач – идиш)”. Вещи были не с магазина: где-то протёртый карманчик, где-то оторванная пуговица. В этих вещах смеялись, плакали, жили... Я мыла их, и руки мои дрожали, и я не могла унять эту дрожь. А потом я вдруг увидела на внут-

реннем кармане пиджачка вышитое имя „Хаимка В.” Мама всегда так помечала мои платья, чтобы в детском саду я не поменялась с кем-нибудь. Вот и мама Хаимки вышила его имя. Я поняла, чьи это вещи. И поняла, что больше не могу оставаться у фрау Берты.

Спала я в сарае, в маленькой каморке, никто меня не охранял, и в ту же ночь я ушла. Не знаю, сообщила фрау Берта о моём побеге или нет, но я двигалась в основном лесами, сама не заметив, перешла границу и оказалась во Франции. Было лето, и питалась я ягодами, боясь выйти на дорогу. Не знаю, что было бы со мной дальше, но где-то через неделю я набрела на маки – французских партизан. И там встретила Микеле, итальянца из Неаполя. Он попал в отряд за неделю до меня. У него дорога в отряд была труднее и страшнее, чем моя... Когда я спрашивала его об этом, он или отмалчивался и переводил разговор на другую тему, чаще всего вспоминая что-нибудь веселое из довоенной жизни, или вспоминал Данте, говоря, что девятый круг – это его дорога! И только по ночам он стонал, что-то кричал и всхлипывал, как ребёнок, которому приснилось что-то страшное. Я знала, что он прошёл пытки, лагеря, пять раз бежал и четыре раза его ловили, а последний побег был за два дня до расстрела... Но никогда он не рассказывал мне об этом, и, когда однажды наш сын Альберто попросил его рассказать о войне, Микеле прижал его к себе и тихо сказал:

– Прости, сынок, но речь об этом вести мне будет тяжело, – он подмигнул сыну и добавил: – Так сказал великий Данте, войдя в девятый круг! А он был только зритель! Прости, сынок!

И, как всегда, стал рассказывать про дядюшку Паскуале очередную весёлую историю. И Альберто забывал про свой вопрос, и сейчас, когда давно уже нет Микеле, он спрашивает меня:

– Мама, расскажи про папу на войне.

И что я могу ему рассказать? Когда я его встретила, он был уже очень больной: пытки и лагеря оставили на нём своё клеймо – он постоянно кашлял, и часто из горла у него шла кровь. У нас в отряде был врач Пьер, и он мне тогда сказал, что Микеле отбили печень! Он – не жилец! Но мы с Микеле не верили ему: мы любили друг друга. И когда окончилась война, я поехала с ним в Неаполь. До войны Микеле учился в университете в Риме, но не успел окончить. Я очень хотела, чтобы он продолжил учёбу, но он отказался:

– Надо жить, – сказал он. – Может, Пьер прав, и у меня немного времени впереди, я должен заработать деньги, чтобы ты могла жить здесь дальше без меня!

Я кричала на него за эти слова, но он не слушал меня. И начал работать. Он был из большой неаполитанской семьи: у него было четверо братьев и три сестры. За исключением старшего брата Микеле, все они жили в Неаполе, а старший Риккардо в Америке. Все они держали маленькие пиццерии и, как Микеле шутил:

– Неаполитанская пицца – это мы!

И мы тоже открыли маленькую пиццерию и стали потихоньку обживать. Росла наша семья. Первой родилась наша дочка Лючия, я дала ей итальянское имя, но в память о маме. А Альберто назвала в честь папы. И всё у нас вроде бы шло хорошо, но Микеле таял, как льдинка на глазах, мы все видели это и ничего не могли сделать. Не знаю, кто про это написал Риккардо в Америку, но он прислал нам письмо.

Микеле, писал он, я тебя сто лет не видел. Приезжай в Америку, я сделаю для тебя всё: тебя будут лечить лучшие доктора!

И мы поехали. Я не знаю, что за бизнес у Риккардо, но он помогал нам и деньгами, и связями. Он помог нам открыть пиццерию в Бенсонхерсте и устроил Микеле в лучший госпиталь. Кстати, когда мы приехали сюда, Бенсонхерст был чисто итальянский район, а сейчас это почти второй Брайтон: все говорят по-русски...

Что вам сказать, доктора не боги, Микеле прожил ещё пять лет... И я осталась одна с двумя маленькими детьми на руках и пиццерией. Но Риккардо не оставил нас и помогал всё время. Да и сейчас.

Если бы не он, я, наверное, не вытянула б всё это – бизнес шёл то хорошо, то плохо: пиццерий здесь хватает, но Риккардо не давал нам сдаваться, и мы выстояли, и сейчас у нас совсем не плохой бизнес. Когда подросли Лючия и Альберто, Риккардо приехал ко мне и сказал:

– Микеле у нас в семье был единственным, кто учился в университете, и пусть Альберто тоже учится: я буду помогать. А Лючии ты передашь пиццерию, когда она выйдет замуж, а пока пусть работает с тобой! – и добавил: – Это мой совет, а ты поступай, как знаешь: я не буду против любого твоего решения!

И я поступила, как знаю. Я отправила их обоих учиться. Но вышло, как говорил Риккардо: учёба у Лючии не пошла, она отучилась два года и бросила колледж, а Альберто окончил и Риккардо взял его к себе в дело. Я как-то спросила у Альберто, что это у них за дело, но он весь в Микеле, он вместо того, чтобы рассказать всё, как есть, рассказал весёлую историю:

– Мама, – сказал он, – я лучше расскажу тебе историю про дядюшку Паскуале. Его однажды спросили, кем работает его брат Луиджи. „Он делает деньги!“ – ответил Паскуале. „И как он делает деньги?“ – поинтересовались. „Если бы он всем говорил, как делает деньги, то он бы их уже не делал!“ – ответил Паскуале. Так вот и мы с дядей Риккардо!

Вот и всё, что я от него узнала. А Лючия стала работать со мной в пиццерии, и я вам скажу, это ей пришлось по душе. Я теперь спокойно оставляю пиццерию на неё, и я знаю, что Лючия со всем справится не хуже меня.

Лицом Лючия в Микеле, самая настоящая итальянка, а характером в меня: она хочет, чтобы всё делалось по ней, и покричать может, и поплакать. А Альберто – в наших, вылитый мой папа в молодости, у нас дома висела его фотография. И я, глядя на Альберта, вижу её, а вот характером он в Микеле: добрый, всегда весёлый и в тоже время все свои беды держит при себе, никогда ничего плохого не расскажет: копия Микеле. Только я по глазам вижу, что не всё у него хорошо...

Он смеётся:

– Тебе, мама, надо было работать адвокатом, а не мне: ты человека насквозь видишь. А у меня так не получается: и иногда плохой мне кажется хорошим, а хороший – плохим! Но мой профессор говорил, что это свойство не вредит адвокатской практике, а наоборот, помогает! Софизм!

Он у меня любит мудрые словечки. Как и Микеле. Тот тоже вдруг, ни с того ни с сего, мог разразиться латинской фразой! Он стал бы большим человеком, если бы не война... А кем бы стала я?

Я, наверное, никогда бы не узнала, что такое пицца, а, как смеялся Микеле, варила бы цимес! Я ему часто его готовила. И сейчас Альберто иногда меня просит:

– Ма, свари папино любимое блюдо.

И ещё Альберт любит драники, как я. И прилежно натирает на тёрке картошку. И просит меня рассказать о Краснополье, которое он никогда не видел и, наверное, никогда не увидит...

## Figlia

(Дочь – итал.)

Мой папа всегда говорил: от судьбы никуда не уйдёшь! Она найдёт тебя даже под печкой. И, наверное, так оно и есть. Разве я когда-нибудь думала, что моя Лючия выйдет замуж за еврея, и

притом, из белорусского местечка?! Никогда! И на тебе: мир перевернулся! В Нью-Йорке евреев больше, чем в Белоруссии. Я думала, что никогда ни с кем не заговорю уже по-русски: в Италии так оно и было, и здесь тоже, когда мы приехали... А теперь мне уже не с кем говорить по-итальянски здесь: все переехали в Бэй-Ридж! Но, слава Богу, любители пиццы не перевелись! И я вам скажу, среди наших евреев у меня тоже полно клиентов. И я вам скажу больше, Лючия познакомилась с Майклом в пиццерии: он пришёл покупать пиццу. И через неделю Лючия привела его к нам домой.

– Мама, говорит, – это Майкл. Он, как и ты, из Белоруссии.

Вы представляете, как застучало моё сердце? Мне как-то рассказывала мама, как однажды она поехала за какой-то справкой в Могилёв: целый день она среди незнакомых людей, в незнакомом городе, и от этого голова у неё раскалывалась, и вдруг на улице она увидела краснопольскую аптекаршу Ривку, с которой до этого двух слов в год не говорила, так она бросилась к ней, как к самому родному человеку! Ит из унзере Ривке! (Это наша Ривка – идиш). Так и я! Увидела этого Мишу, и он мне показался лучше всех!

В этот вечер я Лючии не дала слово вставить: мне было интересно про всё расспросить. Бохер (парень – идиш) был из Бобруйска. Я когда-то в Краснополлье слышала, что это большое еврейское местечко, а это, оказывается, вообще город! А про моё Краснополлье он не слышал. Откуда мне знать про какое-то Краснополлье, как говорил мой папа маме, когда она начинала расписывать свою краснопольскую родословную. Папа родом был из Воложина и всегда говорил, что Краснополлью до Воложина далеко так же, как воложинской ешиве до краснопольского хедера.

Что вам сказать? Я подумала, что этот бохер как раз то, что Лючии надо: наш еврейский парень, и притом не просто наш, а вообще наш, из наших мест! В общем, как говорила моя мама, кугул (блюдо бабка – идиш) из своей печки вкуснее, чем из Двойриной! И я радуюсь! Они встречаются, я спокойна! Это же не какой-нибудь шейгац! (Нееврейский парень – идиш). Познакомилась с его родителями, как будто на Советскую улицу в Краснополлье попала: я столько лет там не была, и на тебе – разговариваю по-русски, как будто только что из дома вышла! И они удивляются: сын познакомился с итальянкой – и на тебе – её мама из Краснополлья! В общем, что только не может случиться в Америке, как сказал его папа.

Жду, когда свадьбу надо будет делать. И дождалась: приходит Лючия как-то поздно вечером и говорит:

– Мама, мы решили с Майклом снять квартиру.

– Хорошо, – говорю, а потом до меня дошло, переспрашиваю: – Как квартиру? А свадьба?!

Объясняет:

– Свадьбу сделаем потом, когда Майкл университет окончит! – и добавила, чтобы меня успокоить. – Так все делают!

– Дочечка, – говорю. – Хватит, что я себе свадьбу не делала, но тогда была война, а сейчас мне очень хотелось, чтобы у тебя была свадьба.

– Ну, если ты хочешь, то сделаем ингейчмент, (помолвка – английский) – соглашается.

Поговорила я так с ней, а сама до утра заснуть не могла: не понравилось мне это, и я думаю, Микеле бы это тоже не понравилось. Он мне как-то шутя говорил:

– Ты знаешь, о чём меня спросил дядюшка Паскуале, когда я с тобой вернулся в Неаполь? Он спросил: „Микеле, вам стелить кровать вместе или по отдельности?“ И добавил: „Я понимаю, у вас любовь, но что мне потом скажут ваши дети?“

В общем, ночь я не спала, утром звоню маме Майкла:

– Синьора Хана, – говорю, – вы слышали новость: дети наши собираются снять апартамент?! (жильё – английский) И жить вместе без свадьбы?!

– Розочка, – говорит, – что вы так разволновались. Это я им нашла квартиру! Прямо возле нас! Чудесная квартирка: солнечная сторона, четвёртый этаж, с лифтом!

– Ханочка, – перебила я её, – я не говорю про квартиру, я говорю про свадьбу.

– Куда с этим спешить, – спокойно мне отвечает Хана, – пусть Майкл сначала окончит колледж, и тогда сделаем свадьбу.

– А разве это друг от друга зависит? – спрашиваю.

И она мне начала объяснять, как будто я с Луны свалилась: про какие-то гранты для учёбы начала говорить, про то, что все так делают, и, вообще, разве роспись – это главное: они с мужем, когда приехали сюда, развелись не взаправду, конечно, а для бумаг, и вот теперь, слава Богу, получают каждый полный асисай.

– Какой асисай? – не понимаю. – Лючия сказала, что у вас магазин.

– Ну, да, – говорит. – Но он записан на племянника!

Она мне всё это говорила полчаса, и я, в конце концов, поняла, что, прожив в Америке три десятка лет, не разбираюсь в американской жизни, а они приехали без года неделя и уже всё знают.

– Мой Натан был там большим человеком, – говорит. – Он в жизни разбирается. И, поверьте, Розочка, я за ним жизнь прожила, нашим детям такую бы! И если он сказал, что это для Миши хорошо, значит, хорошо! Ему сам секретарь нашего райкома говорил: „Миша, у тебя еврейская голова!”

И я подумала: кто его знает, может, так и надо, я живу по старым понятиям, а мир давно уже повернулся с головы на ноги. Как говорила моя мама, если все стоят на голове, то одному устоять на ногах трудно! И дети вроде бы любят друг друга: пусть будет по-ихнему!

И стали они жить вместе.

И вот, где-то через полгода приходит ко мне Риккардо и говорит:

– Розалия, ты знаешь, что наша Лючия у твоего любимого зятя не первая жена?

– Что ты говоришь? – за голову хватаюсь.

– Я решил узнать, что у меня за новые родственники, – поясняет. – И узнаю, что года два назад они оформляли документы на вызов какой-то Виктории. И в документах записали, что она жена твоего любимого Майкла!

– Не может быть?! – говорю. – Может, эта Виктория их дальняя родственница, и они по-иному не могли её вызвать, – соображаю. – Натан Львович привык обходить законы.

– Может, – говорит. – Но тогда зачем они потом отозвали свой вызов! Как раз тогда, когда Майкл познакомился с Лючией!

– Рикки, – говорю, – а ты знаешь, что у Лючии должен быть ребёнок?

– Ох, Розалия, Розалия, – говорит он, – я тебе всегда говорил, во всём советуйся со мной! Как говорил наш дядя Паскуале, пока спагетти ещё не опущены в воду, ты можешь думать, что из них приготовить, но когда они уже в воде, то тебе остаётся только решать, кушать их или нет. И это осталось нам. Я думаю, надо послать человека туда, в ихний Бобруйск, и узнать самим истину, а потом будем принимать решение!

– Не надо в это дело вмешивать чужого человека, – сказала я. – Пусть поедет Альберто.

– Ты права, – согласился Риккардо. – Заодно посмотрит на родину мамы!

И Альберто поехал. А я стала ждать. Я ничего не сказала Лючии, чего без причины беспокоить девочку, но стала передумывать всю эту историю с самого начала: и с одной стороны посмотрю, и с другой, как говорил мой папа: пушинку и ту попробую на ощупь, не дырка ли в костюме.

В общем, как у нас говорили в Краснополье: сижу на иголках. Наконец, дождалась, звонит Альбертик:

– Ну что? – спрашиваю.

– Всё так и есть, – говорит.

– Что так и есть? – переспрашиваю.

– Вё правда, – отвечает.

– Так говори! – прошу.

– Приеду – всё расскажу, – отвечает и кладёт трубку.

И вы думаете, что я после этого могу сидеть спокойно. Нет, конечно. Вскочила и побежала к родителям Майкла.

– Что это такое? – говорю. – Разве так себя ведут?

И начинаю их расспрашивать про эту историю. И что вы думаете, они мне сказали?

– Это вам Соня, наверное, рассказала, – Хана говорит. – Она всегда старается вылить на нас ведро грязи! И вам скажет, что было и что не было! И это двоюродная сестра?!

– Никакой я Сони не знаю, – говорю. – А вы мне скажите всё, как есть: ваш сын женат или нет?

– Ой, – говорит. – Эта история выеденного яйца не стоит! Я вам всё расскажу. Нашему дурачку в тот же год, что мы сюда приехали, пришлось по делу съездить назад в Бобруйск, какие-то дела у него были с аттестатом за школу. И что получилось? Его там окрутила шикса, (нееврейская девушка – идиш) и он записался с ней. Приезжает домой и сообщает нам эту новость! И показывает свой белорусский паспорт! Мы взяли и порвали его! Слава Богу, у нас уже есть американский паспорт. И я вам скажу, он через полгода сам понял, что был дурак! Нам надо невестка-гойка!? (нееврейка – идиш)

– Там вопрос улажен, – добавил Натан. – Ей нужны были от нас доллары, и мы ей их дали! Вопрос закрыт!

– Может, для вас и закрыт, – говорю, – но не для нас! Так в еврейских семьях не поступают! Он мог всё рассказать Лючии сразу, и мы бы подумали, а сейчас я даже думать не хочу!

– А думать надо, – Натан говорит. – Вы знаете, у вашей дочки будет ребёнок!

– Знаю, – говорю. – Сами вырастим!

Поругалась я с ними, с три короба наговорила всего и, хлопнув дверью, ушла. А дома наплакалась и только потом всё Лючия рассказала.

– Ничего, мама, – говорит. – Моё счастье ещё найдётся!

У неё мой характер: в тот же день она забрала все свои вещи и вернулась ко мне, а вечером пошла работать в пиццерию.

А этот мамзул (хулиган – идиш) не пришёл посмотреть даже на родную дочку! И я вам скажу честно, мне от этого было даже лучше: к чему вспоминать старое? А Лючия потом вышла замуж за ешивабохера. (учащийся ешивы – религиозного учебного заведения)

– А я другим парням не верю! – пояснила она мне свой выбор.

И может, она права. И вам скажу, Авнер от неё без ума! Он мне сказал:

– Мама Роза, я всю жизнь мечтал взять в жёны итальянку, но чтобы она была еврейка! Моя мама мне говорила, что я а мишугенер (сумашедший – идиш): такое не бывает! А я сказал, что если Бог захочет, то он мне такое счастье найдёт! И я встретил Лючию!

И сейчас они открыли кошерную пиццерию в Боро Парке, и бизнес у них идет, я вам скажу, чтобы не сглазить, совсем неплохо! И моя Лючия всё успевает: и внучат мне приносить, и за пиццерией смотреть!

– Лючия, у тебя настоящая итальянская семья, – смеётся Рикки. – Как у твоей итальянской бабушки, у тебя шестеро детей!

– И как у еврейской бабушки тоже, – добавляет Авнер, – но, может, мы ещё их перегоним!

Вот такая история с Лючией, но я вам скажу, от этой истории берёт начало история с Альберто. Как говорил мой папа, у нас всё не как у людей: если солнце греет, то оно греет улицу, а если идёт дождь, то он льёт с потолка.

## Figlio

(Сын – итал.)

Извините, мистер Баскин, что я вас беспокою. Мама Роза просила меня дорассказать вам историю, которую она начала вам рассказывать. Я дала ей слово, что всё вам расскажу, и вот звоню. Она говорила:

– Ты же была в Краснополье, и ему интересно знать, как там. Он ведь, как и я, краснопольский. Я не знаю, говорила ли мама про меня, но я – Виктория. Да-да! Та самая, из Бобруйска. Только я не из Бобруйска, а из деревни. Километров десять от города. И папа, и мама у меня всю жизнь проработали в колхозе, а вот дали мне такое имя. Это папа придумал. Всю войну он прошёл рядовым, артиллеристом. И на Эльбе он впервые встретил американцев. И за те несколько дней, что армии стояли рядом, он подружился с высоким, как папа говорит по-белорусски – цыбатым, американцем Джимом. И так получилось, что Джим спас ему жизнь. Как отец рассказывал, стояли они у какого-то дома, разговаривали и рядом стоял парень, тоже из их взвода, и тоже разговаривал с Джимом. И они показывали друг другу оружие. И кто знает, как получилось, но папин земляк вынул чеку из гранаты и от неожиданности уронил гранату, и она покатила к папиным ногам. И тогда Джим в доли секунды принял решение и накрыл собою гранату. Он погиб, а папу ранило. И папа всегда говорил: если у меня родился бы сын, я назвал бы его Джимом, а так как вышла дочка, то я назвал тебя Викторией.



– Потому что Джим говорил: Виктория! Это по-нашему Победа!

И ещё папа очень хотел, чтобы я выучила английский.

– Есть у меня к тебе, дочка, вопросик, – добавлял он к своим мечтам о моем английском, – но я тебе его скажу потом, когда будешь шпрехать по-английски!

У нас в школе учили немецкий, а потом я поступила в медицинский институт, и всё время папа не мог задать мне свой таинственный вопрос. И тогда я сама взяла в институте английский и, хотя в первое время помучилась: и неуды были, и бросать его хотела, но осилила, в конце концов, и даже полюбила, и, когда предстала перед папой во всеоружии, он сказал:

– Дочка, когда я разговаривал с этим американцем, я говорил ему, показывая на себя: „Белорус!“, а он мне говорил: „Американ Джуиш!“ Так вот мне интересно, что это такое.

И я ему перевела. Он долго молчал, а потом сказал:

– А ты знаешь, я так и думал. Он рыжий был, как солнышко. И добрый, как солнышко!

И когда я подружилась с Мишей, он был очень рад.

– Хоть не американский еврей, но еврей из Америки, – шутил он.

Когда я записалась с Мишей, папа был уже очень больной, но очень радовался, что я попаду в Америку.

– Там найдёшь родителей Джима и расскажешь им про сына, – говорил он, будто Америка не больше нашей деревни.

А от Миши сначала были письма, а потом перестали приходить, но я, чтобы дома никого не расстраивать, ничего не говорила. А потом папа умер, и родился у меня сын, и я назвала его Джимом. В сельсовете очень удивились этому имени, и я им рассказала про папу. Сначала я работала в Бобруйске, а когда родился Джими, я переехала к маме в деревню.

И вот как-то после работы зашла за Джимом в детский сад, а воспитательница, наша соседка, говорит:

– К вам американец приехал!

Она сказала, а у меня от неожиданности комок в горле застрял: Миша за нами приехал! Взяла на руки сына и побежала.

– Папа за нами приехал! – говорю.

Вбежала в дом и замерла на пороге: сидит незнакомый парень и разговаривает с мамой, как немой, руками! А Джими соскочил с моих рук и бросился к незнакомцу:

– Папа!

И Альберто взял его на руки, улыбнувшись, сказал:

– Найс бой! (милый мальчик – английский)

А потом он уговорил меня поехать в Америку.

– Вам надо развестись, – сказал он, – между небом и землёй нельзя жить.

И добавил:

– Вы должны помочь моей сестре!

– А как я поеду? – растерялась я. – Поехать от нас в Америку не просто. Миша не мог оформить визу за целый год?!

– Это проблема, – согласился он. – Но я думаю, мой дядя Рикки поможет!

И он пошёл звонить в Америку на нашу деревенскую почту: у нас телефона дома нет. На нашей почте даже нет телефонной будки, как в городе, и звонят просто от телефонистки. Я вышла на улицу, чтобы не слушать чужой разговор. Но Альберто так громко кричал в трубку, наверное, была плохая связь, что некоторые слова можно было разобрать даже на улице. И тогда я услышала, как он говорил дяде:

– Пойми, я её люблю! С первого взгляда!

А знакомы мы были с ним только неделю. И я поехала с ним. Сначала в Краснополье.

– Я должен увидеть мамин дом, – сказал он. – Май мазерс голлэнд!

И вы знаете, мы его нашли. Ему мама описала его так, что мы сразу узнали его. В палисаднике всё так же высилась огромная берёза, закрывая своей кроной крышу дома, а рядом цвела сирень, всё так же звеня листвою.

– Это мама говорила, что она звенит, – сказал Альберто. – И я слышу этот звон. А ты?

– И я, – сказала я.

А потом он сказал:

– А можно мне с берёзы сорвать лист? Я хочу привести его маме.

– Можно, – сказала я.

– Это частная собственность, – вдруг заметил он. – Я могу заплатить.

– Не надо, – сказала я, – это ведь деревня твоей мамы.

И ещё мы долго бродили по краснопольскому кладбищу. Он искал следы своих предков. Кладбище было заброшенным, неухоженным, и среди камней я не нашла знакомую фамилию. И мы просто положили цветы между могил...

А потом я приехала в Нью-Йорк. И прямо с порога, не дав мне сказать слова, Альберто сказал:

– Мама, я её люблю!

А вечером, когда я с мамой Розой осталась одна, я сказала:

– Ваш сын очень хороший человек, очень добрый, но ему надо другую жену. Для чего ему белоруска и ещё с ребенком? Я приехала сюда только для того, чтобы развестись с мужем. И сразу уеду.

И тогда мама Роза сказала мне слова, которые я буду помнить всю жизнь:

– Дочка, я тебе скажу, что сказал мне дядюшка Паскуале, когда Микеле привёз меня в Неаполь. У всех Бог один! И самый большой грех перед Богом у людей – это то, что созданные, как братья, они разошлись по миру, как враги! И только Любовь может опять собрать вместе человеческий род! Евреев, итальянцев, белорусов! Всех! – и добавила: – Я тебя только прошу об одном: люби его так, как он тебя!

А потом был день рождения мамы Розы, и собралась вся наша большая семья. Этот день я тоже никогда не забуду. Мы крутились на кухне, а дети гуляли на дворе. Мы готовили блюда на любой вкус: Лючия – еврейские, я – белорусские, а мама Роза – итальянские. И вдруг я услышала крик Джимми:

– Бабушка, мама, бусел да нас прыляцеў! (аист к нам прилетел – бел.)

Он, хоть уже и два года в Америке, а часто вдруг начинает говорить по-белорусски.

– Откуда здесь аист?! – удивилась мама Роза. – Аистов в Америке не бывает. Но надо посмотреть, какую птицу он принял за аиста.

И мы вышли во двор. И замерли. Раскинув огромные крылья, аист делал круги над домом, опускаясь все ниже и ниже.

– Готуню (боженька – идиш), – воскликнула мама Роза. – Я видела аиста последний раз семьдесят лет назад. Я была а клейне мейделе (маленькая девочка – идиш) и всегда вместе со всеми детьми бежала за аистом, когда он пролетал над Краснополем, и кричала: „Бусел, бусел, слаўны птах, прыпыніся, сядзь на дах!“ – она повернулась ко мне и сказала:

– Видишь, дочка, я ещё что-то помню! У нас говорили, что если аист сядет на крышу дома – это принесёт в дом счастье. Мой папа на берёзе ставил колесо, чтобы прилетел аист, но он никогда не прилетал к нам...

Она посмотрела влажными глазами на птицу и поманила её. И аист, сделав круг над её головой, плавно опустился на крышу маминого дома.

– Вот и пришло моё счастье, – сказала мама и вытерла слезу.

...В ту же ночь она ушла на небо. Тихо, спокойно, без боли, во сне. Как святая.

**Марат БАСКИН.**